

**Paula A. Michaels.** *Curative Power: Medicine and Empire in Stalin's Central Asia.* Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2003. 239 p.

Мне уже приходилось писать рецензию на книгу одной американской исследовательницы, посвященную истории «национального строительства» в СССР в 1920–1930-е гг.<sup>1</sup> И в ней я говорил о том, что в последнее время среди американских историков, специалистов по России и СССР, развернулась дискуссия о том, считать советскую державу империей (неважно, «типичной» или не очень) либо эту страну и эпоху надо оценивать как некую особую политическую формацию, которая скорее представляла собой один из вариантов преодоления имперского наследия и построения современного модернизированного общества. Книга ассистента-профессора истории Университета Айовы Паулы Майклс «Целебная власть: медицина и империя в сталинской Центральной Азии» принадлежит к тому же ряду исследований. Только на этот раз советская

<sup>1</sup> Абашин С.Н. Рец. на: Hirsch F. *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union.* Ithaca, London: Cornell University Press, 2005. 367 p. // Этнографическое обозрение. 2006. № 2. С. 165–168.

история оценивается «из Казахстана» и на примере политики в области медицины.

История медицины дает богатый материал для теоретических обобщений, показывая разнообразные взаимосвязи власти и знания. И здесь сложились свои линии размежевания, которые важны для понимания книги Майклс. Так, вслед за сделанным философом Мишелем Фуко<sup>1</sup> анализом возникновения современных медицинских практик и современной «биополитики» можно рассматривать новейшую историю медицины как по-своему универсальную историю рационализации знания и формирования новых форм дисциплинарной власти. Либо — применительно к неевропейским странам (которые не входили в анализ Фуко) — историю медицины можно интерпретировать как историю имперского проникновения европейского/западного знания и дисциплинарной власти в остальные части света, т.е. историю подчинения и сопротивления «другого». Эта последняя традиция восходит к постколониальной школе, к которой принадлежит историк колониальной медицины в Британской Индии Давид Арнольд<sup>2</sup>.

Нетрудно заметить, что такого рода дискуссии непосредственным образом связаны с вопросом о том, стоит ли говорить о советском государстве как случае модернизации или как случае имперского господства. Методология Фуко призывает нас скорее обращать внимание на универсальную природу советской власти, которая специфическими способами достигала тех же задач, что и страны Европы/Запада — модернизации, установления контроля над населением, использования научного знания (в том числе медицинского) для господства над человеческими мыслями и поведением, над человеческим телом. Адепты же постколониальной теории подозревают подобные универсалистские объяснения в завуалированной форме господства Европы над другими частями мира, отказываясь говорить о человеке вообще и предпочитая рассматривать/различать разные социальные и культурные контексты, в которых происходит становление современного общества. Модернизационная, технократичная и интернационалистская риторика советской власти с этой точки зрения — всего лишь изощренное прикрытие колониального господства, способ оправдать и легитимировать его ссылками на законы истории и природы.

Из введения (Р. 1–13) и заключения (Р. 177–182) рецензируемой книги следует, что Майклс встала скорее на вторую точ-

<sup>1</sup> Фуко М. Рождение клиники. М., 1998; Фуко М. «Нужно защищать общество»: Курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб., 2005.

<sup>2</sup> Arnold D. Colonizing the Body. State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India. Berkeley; Los Angeles; London, 1993.

ку зрения и пишет свою работу в рамках концепции, согласно которой Советский Союз — это русский вариант европейского империализма, который распространял по своей территории новые типы дискурсов, институтов и практик исключительно с целью подчинения «других» и их эксплуатации. Свой вывод она основывает на анализе биомедицинской политики советской власти в Казахстане. Ее интересуют такие аспекты: усилия власти по созданию системы здравоохранения, язык обоснования этой политики, связь этого языка и этих усилий с доминированием русских и Москвы, сопротивление казахов этому доминированию. В трех частях книги автор скрупулезно рассматривает огромный массив архивных и литературных данных.

В главах «Казахская медицина и российский колониализм, 1861–1928» (Р. 21–45) и «Медицинская пропаганда и культурная революция» (Р. 46–70) (1-я часть «Дискурс») Майклс дает описание традиционных «этномедицинских» практик у казахов, характеризует восприятие (по большей части негативное) казахской медицины русским ориентализмом в XIX и начале XX вв., предлагает краткое описание становления советской биополитики к 1928 г. и затем формирования новой биополитики — методов и риторических приемов медицинской пропаганды, формирование образа «доктора-героя» и т.д. Здесь же она пишет о сложностях и ограничениях, с которыми столкнулась эта политика в Казахстане в 1930-е гг. В частности, Майклс говорит об интересе российско-ориенталистской этнографии, а потом советской медицинской пропаганды к условиям жизни, обычаям и гигиене как главным источникам угрозы здоровью, называя этот интерес дискурсивным средством, с помощью которого власть утверждала представление об «отсталости» и соответственно подчиненности казахской культуры и казахского общества, требующих решительных реформ по русско-европейскому (универсальному?) образцу.

В главах «Медицинское образование и образование новой элиты» (Р. 73–102) и «Построение социализма: медицинские кадры в поле» (Р. 103–126) (2-я часть «Строительство институтов») Майклс подробно останавливается на истории развития биомедицинского образования в Казахстане, используя, в частности, архивы созданного в 1931 г. Казахского медицинского института. Она пишет о формировании в рамках такого образования советских типов лояльности, гордости и патриотизма, об изучении казахами русского языка. Особое внимание автором уделяется тому, как казахи вовлекались в получение образования, как менялась абсолютная и относительная численность казахов среди студентов, какие отношения склады-

вались в институте между разными этническими группами, какие существовали формы недовольства и преследования. Затем Майклс исследует развитие сети медицинских учреждений в сталинском Казахстане и национальную (а также гендерную) кадровую политику власти, упоминая трудности и препятствия, с которыми сталкивались эти процессы: недостаток оборудования, низкая квалификация, отсутствие бытовых условий для медицинских работников и пр. Майклс оценивает итоги биомедицинской политики в сталинское время, отмечая как успехи, так и неудачи.

В главах «Политика попечения за женским здоровьем» (Р. 129–152) и «Медицинская и общественная политика здоровья по отношению к казахам-кочевникам» (Р. 153–175) (3-я часть «Практика») Майклс говорит о восприятии и роли казахской женщины в советской программе преобразований, успехах и трудностях политики «охраны материнства и младенчества». Там же она рассказывает об отношении большевиков к кочевому образу жизни и о политике «красных юрт», с помощью которых медицинская и другие формы власти доходили до казахских номадов, а также о коллективизации и седентаризации кочевников, в которых в качестве государственных работников принимали участие медицинские кадры.

Отдавая дань многочисленным и неоспоримым достоинствам книги (внимательное и тщательное изучение архивов, попытка взглянуть на историю советского общества с точки зрения локального и регионального уровня, стремление опереться на постколониальную теорию и пр.), нельзя не отметить, что автор не на все вопросы в рамках избранных ею же концептуальных рамок дает исчерпывающие ответы. В рамках рецензии трудно вступить в полноценную дискуссию, но на некоторые проблемы я хочу кратко обратить внимание.

Возникает, например, такой вопрос. Почему суждения о советском строе, который существовал с 1917 по 1991 гг., основываются только на изучении сталинского периода 1930–1940-х гг.? Почему важен именно данный период, а не 1920-е гг. и не эпоха Хрущева и Брежнева? В эти годы тоже существовало советское общество, несколько иначе организованное, чем при Сталине. И мы, возможно, увидим, обратив взор к этим временам, что казахи (и вообще все остальные «колонизированные» народы) были активно вовлечены в проект/процесс советской модернизации и реализовывали в нем собственные интересы. Мы увидим у тех же казахов сильную и эффективную советскую идентичность, за которой стояли привычки, практики, габитусы, сформированные в советское время. Но не потому ли Майклс останавливается на 1930–1940-х гг., что

другие периоды не очень удачно вписываются в понятие «империя» и представляют гораздо больше материалов для сомнений в имперской природе СССР?

В общем, и про сталинскую эпоху ничего нельзя утверждать однозначно. Несмотря на жесткое подавление инакомыслия, политику 1930–1940-х гг. мы можем описывать не только в терминах подавления и сопротивления, но еще и в терминах компромисса или соглашения между разными группами элит и населения. Это многостороннее, молчаливое и не всегда равноправное соглашение основывалось на понимании и желании реформ и изменений, а эти желания в свою очередь проистекали из многочисленных траекторий групповых и индивидуальных биографий политиков и населения. Возвращаясь к медицине, мы можем спросить себя и автора: разве в самом казахском обществе не существовало потребности в рационализации медицинских практик и разве не было своих влиятельных энтузиастов такого рода изменений? Даже если современная медицина пришла к казахам из России, какова генеалогия медицинских знаний в самом казахском обществе, были там уже зачатки «современных» представлений, была ли в них потребность изнутри, какие еще влияния испытывали казахи, как современная медицина, доказав свою эффективность, стала частью казахской культуры и инструментом осознания самости? Не ответив на эти вопросы, мы не можем утверждать, что сам по себе факт российского «следа» в процессе становления медицины (и вообще знания в широком смысле слова) в Казахстане был исключительным проявлением имперской сущности России. А таких ответов в книге Майклс нет, несмотря на впечатляющую статистику биополитической экспансии.

О статистике. Майклс часто в доказательство имперской природы медицины использует цифры, согласно которым казахи были на втором месте в числе студентов медицинского института после русских. Однако интерпретация этих данных как отражения дискриминации не убеждает. Кто же пользовался преимуществом по сравнению с казахами? Самая большая группа — русские студенты. Но является ли этот факт результатом специальной политики по продвижению русских или мы имеем дело с тем обстоятельством, что русские абитуриенты в 1930–1940-е гг. были лучше подготовлены и мотивированы для поступления в такого рода вузы? Майклс на этот вопрос не отвечает. Помимо русских среди студентов были большие группы украинцев, евреев и немцев. Многие из них, включая русских, происходили из числа бывших ссыльных, раскулаченных, дворян и интеллигенции, просто скрывающихся от власти людей — всех их тоже можно было бы назвать

в каком-то смысле жертвами сталинской политики. Кто же тогда был той привилегированной группой, от имени которой осуществлялась имперская экспансия и эксплуатация ресурсов колоний? Советская/коммунистическая элита, которая не имела явной этнической прописки и которая к тому также не избежала многочисленных чисток?

Конечно, как справедливо пишет Майклс, «русские обычаи, русский язык и культура должны были быть в сердце развивающейся советской, социалистической идентичности» (Р. 6), а многие ресурсы из окраин направлялись на развитие центральных регионов. Но являются ли любые различия между центром и периферией, а также доминирование какого-то языка в публичном пространстве однозначными указаниями на имперский характер страны? Разве алмаатинский казах с высшим образованием или казахский партийный функционер автоматически становились «колонизированными» только потому, что заявляли о своей казахскости на русском языке?

Для Майклс очень важно расслышать голос колонизируемых — казахов, узнать их мнение о политике советской власти. Однако факты негативных высказываний о советской власти, взятые из сводок спецслужб или партийных отчетов, вовсе не выглядят убедительным доводом в пользу вывода о массовом сопротивлении казахов советской власти. Стоит только выборку таких высказываний произвести не по этническому, а по какому-нибудь другому признаку, и окажется, что в «сопротивлении» могли участвовать все слои общества, а само «сопротивление» было скорее неизбежным спутником модернизационных шоков.

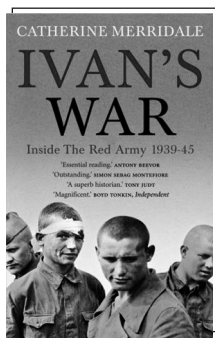
Наконец, следуя канонам постколониальной критики<sup>1</sup>, автор говорит об «этномедицине» как альтернативном европейскому/западному/русскому способе казахов думать о человеке, о причинах болезней и способах их лечения. Наличие такой альтернативы будто бы черта неколонизированной казахской самости и источник различий с европейской/русской универсализирующей моделью. Но была ли казахская «этномедицина» действительно настолько «другой» и разве с ней не происходили изменения в советское время и под влиянием советской медицины? Ответа на этот вопрос нет. Автор специально не анализирует динамику «этномедицины», реконструируя ее скорее как область знаний и практик, сложившуюся и законсервированную в начале XX в.

---

<sup>1</sup> См. например: *Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton and Oxford, 2000.*

Мне представляется, что при всех своих плюсах работа Майкл оставляет многие темы открытыми для интерпретации и заставляет нас — читателей — дальше думать о противоречивости советского времени, советского человека, советской идентичности.

*Сергей Абашин*



**Catherine Merridale.** *Ivan's War. The Red Army 1939–1945.*  
L.: Faber and Faber, 2005 (paperback edition). 396 p.

Взрывая, возмутишь ключи,  
Питайся ими — и молчи.  
*Ф. Тютчев. Silentium*

Потом наступает молчание  
Исподволь, неспроста.  
*О. Бергольц.*  
*(Из рабочих тетрадей)*

Первое чувство: в книге Кэтрин Мерридейл с трудом отыщется нечто, чего бы не знал, о чем бы не догадывался даже человек из того поколения, которое лишь играло в войну, в «русских и немцев». Подспудное знание возникало из уродства инвалидов, домашнего лендлизовского инструмента, газет, в которые были завернуты старые вещи, из отрывочных воспоминаний и многословного нежелания говорить о прошлом. Книжки были лишь псевдонимом невыразимого — гордой и постыдной реальности прошедшей войны. От них ждали объяснения, как следует горевать, помнить и толковать войну, чтобы совместить прошлое с конформным будущим, как наделить войну

смыслом, который не разыскать в бессмысленности страдания. Или напротив — если индивидуальная жизнь (чаще — смерть) обладала подобием простоты и цельности, то общий смысл личной жертвы ускользал, переливался всеми цветами безысходности, торжества государства и коллективистской идеологии.

В этой невозможности соединить личное и общее, правду и смысл, осознать исток бесконечных вариаций расплывчатой темы, может быть, кроется объяснение того, отчего на русском языке не было и нет повествования, равного книге британского историка К. Мерридейл — гуманистического повествования, выходящего за рамки художественного свидетельства или документированного изложения. В попытке объять существо войны российское общество не смогло преодолеть ее прославления — Великой, Отечественной. В массовом сознании она по-прежнему предстает высшим оправданием коллективной несвободы, кульминацией жизненного пути целого поколения, высшей точкой современной истории, источником патриотической гордости и притязаний на особую миссию России, георгиевской ленточкой.

Книга К. Мерридейл порывает с традицией глорификации войны, фашистской по своей идейной генеалогии и социальным функциям. Шаг за шагом она восстанавливает действительность «жизни и смерти» советского солдата (эти слова присутствовали в заглавии первого издания). «Иванова война» продолжает исследования К. Мерридейл об отношении к страданиям и смерти, о воспоминании и исторической памяти в России<sup>1</sup>. Однако каков бы ни был исследовательский опыт автора, поставленная в новой книге задача ошеломляет профессиональной трудностью. Речь идет о более чем 35 миллионах мужчин и женщин, составлявших Красную армию в 1939–1945 гг., несколькими огромными волнами призывов втянутых в войну. Армия включала отцов и их детей (и различия между поколениями были предельно обострены пост-революционным преобразованием страны). Для многих молодых людей война стала первым знакомством с большой родиной, для других — заветной возможностью получить техническую специальность. Почти для каждого, кто встретил войну в 1941 г., она означала ранение, плен или смерть — или все вместе взятое: потери Красной армии за первые шесть

---

<sup>1</sup> C. Merridale. 1) *Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia*. N.Y., 2000; 2) *The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia* // *Journal of Contemporary History*. Vol. 35. No. 1. P. 39–55; 3) *Redesigning History in Contemporary Russia* // *Ibid.* Vol. 38. No. 1. P. 13–28. См. также вышедшую после публикации «Ивановой войны» статью в том же журнале «*Culture, Ideology and Combat in the Red Army, 1939–45*» (Vol. 41. No. 2. P. 305–324)



месяцев войны достигли четырех пятых ее численности накануне 22 июня. К. Мерридейл показывает, как война вобрала в себя разнородный социальный универсум и переопределила его, назначив каждому ячейку на многомерных пространствах своей безумной шахматной доски, принуждая принять свои правила без правил, создавая каждому особое пространство индивидуального выбора или не оставляя ни малейшего шанса ни на жизнь, ни на достойную смерть. Говоря словами самой К. Мерридейл, «война создала ландшафт, на котором любой выбор был потенциально смертелен как для солдат, так и для гражданских» (Р. 329).

Сколь бы разнородными ни были жизненные переживания, «коллективная ясность цели была беспрецедентной». Это не означало, однако, единства общества, даже той его (преобладающей) части, которая обладала сознанием этой ясности. «Война создала иерархические различия, породила выигравших и проигравших, привела к миллионам смертей. Физическое разлучение, голод и насилие не объединяют сообщества». Вера в солидарность времен войны, о которой так часто вспоминают, основывалась на жестком контроле того, что людям позволялось знать о действительности за пределами их непосредственного опыта (Р. 196). «Что бы ни говорил Сталин о дружной работе всего народа, — размышляет К. Мерридейл над многочисленными свидетельствами, — с 1943 г. большинство фронтовиков уважали только передовую и товарищество по опасности. Противопоставив солдата гражданскому населению, возбуждая страх перед шпионами и „наседками“, обратив фронтовика против сообщества тыловых военных „крыс“, война раздробила, а не объединила советский народ. Хуже всего, что передовая отделила фронтовиков от самих себя» (Р. 202).

Социальная история самоистребления немислима без экзистенциального сопереживания, помноженного на профессиональную чуткость к фальши. Свидетельства военных лет выражены языком, на котором приучила людей выражать свои чувства тоталитарно-ориентированная власть, приноровлены к нормам цензуры, соотнесены с ожиданиями адресата. Если с такого рода препятствиями историки привыкли иметь дело, то с конденсацией времени и смерти, пожалуй, нет (иначе бы они не оценивали участников революции и войны по нормам поведения офис-менеджеров). Многомесячные бессонница и голод плохо совместимы с декартовской прозрачностью мышления, с кантовской четкостью этического закона. Как не раз подчеркивает К. Мерридейл, цитируя письма военных лет, момент смертельного напряжения спасительно выпадает из сознания. Не может быть сочувствия к насильнику, но мас-

совые изнасилования, творимые не только в Восточной Пруссии, автор сумела объяснить, реконструируя социальный и личный опыт советских солдат, особый способ их существования (Р. 270–277).

Вспоминать могут только живые — и помнят так, как подсказывает им последующий жизненный опыт. Сама привычка к воспоминанию придает ему смысл ритуала. «Культуре рядовых бойцов, на которой зиждились их боевой дух и стойкость, выживание их и, наверное, самой России, предстояло исчезнуть с оседающей пылью военной поры» (Р. 167). И все же две сотни встреч с участниками войны многое дали К. Мерридейл. Она с горечью думает: «Когда умрет последний ветеран, исчезнет преграда словам и идеям, которые наследники победы России смогут приписать ее героям, но на какое-то время эта преграда остается» (Р. 332).

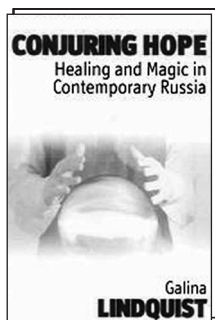
Все возрастающая временная дистанция не разрушила табу «гос-тайны» на доступ к важнейшим для социального историка фондам архива министерства обороны, и остается только гадать, скрывают ли они свидетельства о жестокости начальства, трусости или даже мятежах в Красной армии (Р. 9). Подобно многим своим коллегам, К. Мерридейл отыскала трудоемкую и неполную замену запретным материалам, обратившись к документам курского и нескольких московских архивов.

Немногие предпринимаемые в России исследования в области антропологии войны (прежде всего, работы Е.С. Сенявской, с признательностью упоминаемой Мерридейл) тяготеют к структурному рассмотрению, плохо совместимому с историческим пониманием, с чуткостью к изменчивости социальных феноменов. Книга К. Мерридейл организована с достаточной долей повествовательной интуиции, чтобы совместить внимание к траектории индивидуальной судьбы и статичность социологического вопросника, подчиняя оба этих аспекта общей исторической динамике. «Слова и мысли, которые выглядели совершенно ясными в 1945 г., в начале войны часто обладали иными коннотациями и были неясными в своей направленности» (Р. 328). Патриотизм, летом 1941 г. пылкий, даже революционный, в ходе войны меняет свое содержание, ожесточается, приобретает черты тотального ответа на злодеяния врага. Изложение разворачивается в глубину, как разворачивалась собственная стихия войны, оставаясь верным авторскому замыслу, выбирающему сюжеты и героев. Несправедливым поэтому был бы упрек автору в том, что она лишь вскользь касается Киевской катастрофы или Ленинградской блокады, не пытается объяснить, почему даже летом 1943 г. советские бойцы тысячами переходят на сторону немцев (Р. 194).

В большой книге К. Мерридейл читатель встретит фактические ошибки и граничащие с ними упрощения. Кажется все же уместным пренебречь обязанностью рецензента указывать на то, что он полагает неверным: эти промахи и рискованные упрощения, как правило, не нарушают аргументации и общего строя книги. Важность представляет лишь одно из спорных мест. «Груды тел появились на центральных городских кладбищах в центре, каждый из этих людей был застрелен с близкого расстояния из полицейского пистолета, — пишет К. Мерридейл об апогее репрессий 1937–1938 гг. — Чистки, процесс, в ходе которого десятки тысяч невинных людей были арестованы, подверглись тюремному заключению и, в конечном счете, в неизвестном количестве случаев казнены без суда, бросали тень на все области общественной жизни» (Р. 39). Этот странный коллаж невежественной риторики и ставшей притчей во языцех старой полемической ошибки Арча Дж. Гетти в оценке масштабов репрессий нуждается в объяснении. Почему тонкому знатоку советской повседневности и политического режима оказалось необходимым представить его в качестве банальной, хотя и отвратительной диктатуры или «тирании»? Классическое представление о народе, страдающем под гнетом тирана, думается, спасительно для авторской концепции, проникнутой душевным сопереживанием, если не любовью к своим героям, к погибшим и тем, кого она угощала чаем. Вероятно, по той же причине войска НКВД представлены в книге исключительно орудием репрессий и контроля. Как быть, однако, с бойцами полевых дивизий и бригад НКВД, со сгоревшими на Курской дуге танкистами, носившими петлицы этого печально знаменитого ведомства? Автор дает немало материала для создания впечатления о континууме социальной реальности, пределы которого обозначают абстракции «власти» и «народа» (см., например, Р. 330), однако это впечатление ускользает от концептуализации. Если система взглядов и ценностей, способ самовыражения были привнесены, навязаны «властью», то неумолимо возникает вопрос об источниках этой власти, — вопрос, вовсе не безразличный и для понимания России в мировой войне.

Книга К. Мерридейл, адресованная западному читателю, важна для широкого прочтения в России. Достанет ли у российского читателя широты и отзывчивости, чтобы без предубеждения воспринять «Иванову войну»? Появится ли у него душевный дискомфорт от наследственного безразличия к войне Джона — или Филиппа Мерридейла, которому дочь посвятила свою книгу о войне на востоке?

Олег Кен



**Galina Lindquist.** *Conjuring Hope: Magic and Healing in Contemporary Russia.* New York and Oxford: Berghahn Books, 2006. 251 p. (Epistemologies of Healing. Vol. 1.)

На недавней конференции по народной религиозности один из участников в начале своего выступления, посвященного заговорам сибирской целительницы Степановой, счел нужным извиниться перед аудиторией за выбор этого «неаутентичного с точки зрения народной культуры материала». Пример хорошо демонстрирует ту неохоту, с которой отечественные этнографы и фольклористы обращаются к изучению современной магии со всеми непростыми социальными и культурными нюансами этого феномена. Ощутимый пробел отчасти восполняют работы зарубежных антропологов. Читателям наверняка знакомо имя Галины Линдквист, доцента кафедры социальной антропологии Стокгольмского университета, автора нескольких статей о магии и целительстве в постсоветской России. Ее новая монография стала первым томом серии, затеянной сотрудниками Института социальной и культурной антропологии Оксфордского университета для работ в области медицинской антропологии. На материале своей полевой работы в Москве в 1999 г. Линдквист анализирует те социальные и экономические аспекты постсоветской действительности, которые сделали магию одним из неотъемлемых элементов повседневности.

Центральные темы книги — магия как способ власти и как средство, дающее людям возможность выживать в ситуации «ненадежного (precarious) настоящего». Автор, по ее словам, стремилась показать, как в об-

шестве, где официальные каналы деятельности ограничены, магические практики могут давать человеку возможность действовать; как они могут изменять его субъективность, трансформируя деструктивные эмоции, и давать надежду на будущее.

Книга состоит из семи глав. В первой рассматриваются особенности российского рынка оккультных услуг, источники современной магии, а также стратегии легитимации, используемые магами и целителями. Вторая глава в концептуальном отношении наиболее важна для автора: хотя основные теоретические и методологические посылки исследования изложены во введении, именно здесь на конкретном эмпирическом материале она рассматривает концепты российского магического дискурса (биополе, сглаз, порча и пр.), описывает ход магического воздействия и высказывает предположение о том, на чем могут основываться его результаты.

Дальнейший текст книги представляет собой уточнение и развитие этих идей. Так, в третьей главе подробно рассматриваются негативные эмоции, тесно связанные с представлениями о сглазе и порче, а магия показана как способ управления эмоциями. Четвертая и пятая главы посвящены целителям как «символам власти» — харизматическим одиночкам и сотрудникам учреждений (всевозможных магических центров) соответственно. В шестой главе говорится о заговорах, в седьмой — о магии в бизнесе.

Основная методология исследования Линдквист — семиотика Чарльза Пирса; в свете триады Объект-Репрезентант-Интерпретант рассматриваются все изучаемые реалии. Кроме того, для автора важны и другие теории, концепции и подходы — социальная феноменология Пьера Бурдьё, символическая философия Сюзанны Лангер, социология Макса Вебера, философия власти Мишеля Фуко, а также теория селфа, антропология эмоций и медицинская антропология. Автор не избегает искушения и психоаналитическими интерпретациями, оговариваясь, впрочем, что не считает их адекватными материалу.

Вслед за Леви-Стросом и развивавшими его идеи другими учеными (Т. Csordas, А. Kleinman) Линдквист понимает магическое воздействие как семиотический процесс, а его положительные результаты видит в трансформации личности (self) клиента. Диагностические «термины бедствия» (сглаз, порча, венец безбрачия, печать одиночества, родовое проклятие и другие, менее распространенные) понимаются автором как своего рода язык, на котором маг учит клиента говорить, чтобы поместить его неопределенные ощущения и переживания

в значимую нарративную структуру, где с ними можно было бы иметь дело — добиваться феноменологических и даже физиологических изменений через манипуляции знаками (словами, предметами, жестами). В терминах пирсовской семиотики это означает формирование магом четкого Объекта из смутных ощущений и разнородных событий с помощью Репрезентамена (диагностического термина), а затем создание у клиента Интерпретанты — но не нового символа, как предполагал Пирс, а нового состояния (эмоционального, физиологического, социального).

Выводы автора могут быть сведены к нескольким положениям. На российском культурном пространстве, утверждает Линдквист, магия может быть рассмотрена как способ власти с рядом специфических «знаков власти». Эти знаки (будь то «термин бедствия», заговор, учреждение или личность целителя) скорее «презентативны» (presentational), нежели «репрезентативны» (representational). В терминах пирсовской семиотики они являют собой скорее иконические и индексальные знаки, для эффективности которых важнее прагматический аспект означивания («как»), чем символы, «работающие» на основе интерпретации семантики («что»). Соответственно русская магия прагматична, а не дискурсивна, а ее цель — помочь людям справиться с неопределенностью жизни, дать им надежду на лучшее будущее.

Галина Линдквист родилась и до 1986 г. жила в Москве, поэтому «погружение» в символический мир магов и их клиентов не было для нее такой уж сложной задачей, хотя на этом пути и были свои трудности (авторская рефлексия относительно исследовательской позиции «полукровок» («halfies») заслуживает отдельного внимания). Автор хорошо понимает реалии, которые описывает, ее наблюдения тонки, интерпретации в целом верны, и книга не вызывает того недоумения, которым у носителей культуры нередко сопровождается чтение трудов зарубежных исследователей. Линдквист обнаруживает новые культурные факты (чего стоит хотя бы история о «шарфике невезения» как диагностическом термине, почти обретающем материальность в восприятии пациента (Р. 47–48)), вводит в научный оборот богатые полевые материалы, более того, выявляет саму возможность рассматривать современные нарративы о порче и исцелении как источник по антропологии российской повседневности.

Претензии, которые можно предъявить к книге, относятся большей частью не к «чтению» автором современной российской культуры, а к способу изложения и аранжировки материала. Так, для Линдквист и маги, и заговоры, и обозначающие

магическое неблагополучие термины суть «знаки власти», действующие как иконы и индексы, не репрезентирующие, а презентующие реальность, а потому являющиеся элементами не дискурса, а смутного, неопределенного поля эмоций и ощущений, в котором, как в некоем тумане, бродят россияне — реальные и потенциальные клиенты магов и целителей. Однако уже сами рассказы об удачном/неудачном магическом воздействии, на которых строит свое исследование автор, свидетельствуют о том, что эта сторона реальности дискурсивна, хотя этот — магический — дискурс и отличается рядом особенностей, в частности потаенностью (не путать с приватностью). Также не очень понятно, в чем состоит специфика — если она есть — различных «знаков власти». Несколько странным после Тайлора и Фрэзера выглядит вывод о прагматичности именно русской магии, а о том, что функция последней состоит в снятии психологического напряжения, писал еще Малиновский.

О частностях. Неоправданно лаконичным видится описание современных русских заговоров. Линдквист приводит несколько текстов из коллекции одной из ее информанток-целительниц (заговоры на собеседование при приеме на работу, на защиту от начальства, от увольнения и т.п.; их авторство, по всей видимости, принадлежит самой информантке, хотя точное происхождение текстов не указано). Но анализ этих заговоров очень краток и в целом сводится к общим рассуждениям на тему прагматичности ритуального слова, принадлежащего к «глубинным структурам культуры» и потому «пережившего столетия» (Р. 197), а историография вопроса ограничивается ссылкой на работы В. Райана и В.И. Харитоновой о русской магии. Думается, что сопоставление полевых материалов автора с заговорной традицией более ранних периодов, довольно хорошо изученной в российской фольклористике, сделало бы их анализ более глубоким (в частности, суждение информантки о том, что заговор должен соответствовать «энерго-информационной структуре» клиента, стоило бы сопоставить с мнением деревенских знахарок XIX и XX вв., полагавших, что целитель и пациент должны подходить друг другу «по крови»).

В заключительной главе книги автор, собираясь обсуждать тему использования магии в сферах бизнеса и коммерции, незаметно уходит в сторону и детально рассматривает сюжеты, связь которых с магией не столь уж очевидна (особенности рыночных отношений в советское и постсоветское время, концепт дружбы в русской культуре).

Некоторые места книги, относящиеся к области антропологического «чтения», а не концептуализации, вызывают желание

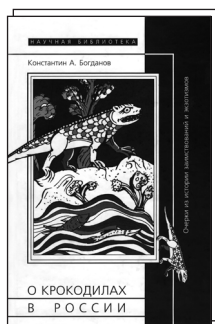
вступить с автором в дискуссию. Так, говоря о вовлеченных в магические отношения эмоциях (Chapter 3), Линдквист подробно разбирает гнев и обиду, однако не упоминает не менее важные злобу и зависть, анализ которых мог бы создать у читателей более полное представление о социально-психологических основаниях российской веры в колдовство. Вызывает сомнения и перевод терминов. Автор говорит, что повседневная жизнь россиян пронизана эмоцией «anger», но при этом утверждает, что адекватного термина для перевода этого понятия на русский язык нет, есть лишь два близких по смыслу — гнев и обида (Р. 91–93). Однако в другой главе, разбирая заговор, она переводит термином «anger» понятие «зло», которое «кипит» в «хозяине» (работодателе) наряду с гневом, которым «взгляд его горит» (Р. 186). И далее пишет, что слову «зло», которое следует переводить как «evil», в повседневном узусе ближе английское «grudge» (в семантическое поле которого входят «неприязнь», «зависть», «жадность», «обида»), однако не упоминает «malice» — наиболее адекватный перевод для «злобы», эмоции, которая и имеется в виду в разбираемом заговоре, а также и в представлении о магической порче вообще.

В целом при чтении создается впечатление некоторой неровности повествования, а поскольку последнее балансирует между детерминацией и интерпретацией, эта неровность может быть понята двояко. С точки зрения сторонника «больших нарративов», текст, добротный и методологически выверенный в первых главах, в заключительных становится теоретически «вялым»: полевые материалы из иллюстрации авторской концепции превращаются в основное содержание глав, претендующих на постановку новых проблем. Читатель же, которому ближе герменевтический подход, отметит, что, хотя эмпирические данные явно увлекают автора, она не дает им полной воли «говорить за себя», как того требовала бы методика «насыщенного описания», но сопровождает краткими концептуальными выкладками, уже знакомыми читателям по введению. В итоге полевые наблюдения, богатые и интересные, редуцируясь к нескольким научным схемам (семиотической модели Пирса, концепции харизмы Вебера, «практической логике» Бурдьё, «выразительным формам» Лангер), неизбежно теряют свой интерпретативный потенциал, который явно превосходит задачу доказательства эвристической ценности этих давно апробированных и не нуждающихся в дополнительном подтверждении научных методов и концепций. Сведение анализа к применению жестких структуралистских схем и структуралистских идей противоречит, как кажется, и заявленной цели описания субъективного опыта современных россиян, столкнувшихся с «магическим».



Тем не менее подчеркну, что предпринятое Галиной Линдквист рассмотрение современных российских «магических» реалий в свете устоявшихся в антропологии концепций достаточно ново для отечественной науки и может оказаться тем свежим ракурсом, тем эпистемологическим толчком, который помог бы преодолеть «социологическую немзыкальность» российских гуманитариев и обратить их интерес к современным «народным верованиям» не как к осколкам традиции или любопытному казусу, а как к культурному феномену и социальному институту, достойному научного внимания.

*Ольга Христофорова*



**К.А. Богданов.** *О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов.* М.: Новое литературное обозрение, 2006. 352 с., ил.

Это история экзотического в России с начала Киевской Руси до первой трети XIX в. (с кратким заключением об образе крокодила в советское и постсоветское время, от Чуковского до художников Комара и Меламида). На деле почти все иностранное является экзотическим, а Аристотель и Цицерон водят дружбу с химерами и чудовищами, часто заимствованными с запада. Благодаря полному охвату темы и задач, которые ставят перед автором различные тексты и артефакты, исследования русской культуры раннего нового времени получили с книгой К.А. Богданова огромное дополнение. К.А. Богданов демонстрирует большие познания в традициях средневековья и просвещения, а в его обзоре категорий экзотического искусно и аккуратно использован эклектичный набор методов, которые он обсуждает в «Prolegomena ad studia exo-

ticae». Читатели, знакомые с работами Нила Кенни и прежде всего Стивена Гринблатта, чья модель культурной поэтики повлияла на подход Богданова, узнают «траекторию» книги, которая движется от истории слов, обозначающих редкости, к риторике и изучению чудес. В русистике соединение риторического анализа, истории книги и, в меньшей степени, истории науки представляет отличное и удачно проведенное нововведение.

Автор рассматривает свой предмет тематически. Разделы последовательно касаются влияния экзотического как языкового феномена через перевод, переноса материальных объектов и соответствующих им систем ценностей (вместе с кофе приходит понятие публичной сферы и отчасти консюмеризм); адаптации литературных норм к западным риторическим системам; создания национальной идентичности с помощью соединения «другого» и «врага» в народном и официальном националистическом дискурсе; и наконец, мифического и фольклорного облика экзотического как меняющего форму символа чудовищного и неизвестного. Связанные между собой главы книги представляют насыщенное описание понятия и содержат взвешенную попытку показать один аспект российской идентичности раннего нового времени.

Осознавая трудности, с которыми сталкивается разбор языковых тонкостей, Богданов собирает тезаурус синонимов, виньеток и свой собственный кабинет редкостей, чтобы исследовать историю семантического поля любопытства и раскрыть коннотации связанного с ним словаря. Страницы 30–37, где перечислены ссылки на «остроумие», от мимолетного упоминания в «Житии» Стефана Пермского до отношения к разуму в конце правления Екатерины Великой, являются наилучшим примером его метода. Свидетельства о концептуализации и репрезентации экзотического в раннее новое время в основном фрагментарны, что препятствует непрерывному повествованию. Такая фрагментарность отражает качество интеллектуальной жизни в отсутствие гуманистической традиции. Чтобы дополнить картину и обеспечить соответствующую ей рамку, Богданов широко использует западные параллели. Здесь его знание первичных и вторичных источников также впечатляет, хотя повествование, оставаясь ясным и хорошо написанным, иногда становится отрывистым. Когда изложение начинается в Константинополе V в. и, пройдя сквозь густую ассоциативную сеть ссылок, заканчивается в Петербурге XVIII в., это может смутить читателя, но метод имеет свою временную логику. Там, где можно предположить прямую передачу текстов, чаще всего от византийских писателей к русским писцам и

богословам, подход Богданова соответственно склоняется к свидетельству источников. Богданов шаг за шагом ведет нас к XVIII столетию, естественно начиная с увлечения Петра I редкостями и основания научных институтов. Он не пишет много о том, какую роль играла любовь к диковинам в дискурсе естественных наук в России, но его книга является хорошей отправной точкой для дальнейшей работы в этом направлении.

Глава о риторике представляет собой тонкий и сбалансированный синтез различных отношений к книжности и риторических тропов, таких как остроумие. Ее стоит прочитать каждому, кто интересуется риторической традицией в России. Богданов убедительно показывает источники сопротивления новому стилю риторики в славянской традиции книжной учености с ее акцентом на позитивную, а не на спекулятивную мысль. Автор уверенно ведет читателя через традицию схоластики и логики силлогизмов, практиковавшуюся в Славяно-греко-латинской академии в XVII в.; он также дает очень полезное формальное описание учебников риторики и их удивительного разнообразия (хотя можно не согласиться с его характеристикой западных учебников как более стандартизованных).

Богданов идет дальше, рассуждая о том, почему аргументация как часть российской интеллектуальной жизни имеет другой статус и стиль по сравнению с ее функциями в западной традиции. У гомилетики не было недостатка в риторическом блеске и софистических спорах, но очевидно позднее появление университетов и господство церкви сделали экзотическим само понятие беспристрастного диалога. Зачаточное состояние российского законодательства и юриспруденции лишили риторику судебной традиции и соответствующих функций. В результате искусство риторики и ее изучение были частью поэтики, которая процветала со второй половины XVIII в. вместе с подъемом национальной литературы. Похвальна гибкость Богданова при работе с различными примерами, даже если не каждое его заключение выдерживает критику, а некоторые связи, изложенные туманно, — шаткие гипотезы (например, соединение теории энтузиазма с Жан-Жаком Руссо изложено совершенно неправдоподобно).

Автор на протяжении всей книги в изобилии использует первичные источники, уравновешивая различные интерпретации изобразительного материала (раздел про лубок прекрасно сделан) и выявляя разумные основания для интерпретации (Богданов слишком корректен в своих замечаниях о советской историографии чудовищ, которая задавалась вопросом, был

ли рост числа «крокодильих» топонимов обязан нашествию ящеров).

Проект Богданова амбициозен и интердисциплинарен. Его аргументы поддержаны множеством иллюстраций, благодаря которым читатель может увидеть экзотическое своими глазами. Вряд ли кто-то из читателей никогда не видел крокодила, но многие не знают, как писатели от Аристотеля до старообрядцев понимали, изображали и называли символического и экзотического *крокодила* и *коркодила*.

*Эндрю Кан*

*Пер. с англ. Ольги Бойцовой*